

ЛИНА ВЕТЛИЦКАЯ

# Плох кожей

ДВЕНАДЦАТЬ ИСТОРИЙ. ДВЕНАДЦАТЬ ПОТЕРЬ.  
ОДНА ДЕВУШКА, ГОТОВАЯ ПЛАТИТЬ СОБОЙ

ЗАБУДЬ СЕБЯ, СПАСИ ДРУГОГО

Лина Ветлицкая

**Под кожей**

«Чтец»

2026

## **Ветлицкая Л.**

Под кожей / Л. Ветлицкая — «Чтец», 2026

Мира Тихонова работает в тату-салоне «Под кожей». Её дар — сделка с мелким шрифтом, подписанная вслепую. Мира не просто бьёт татуировки. Она видит прошлое и может его переписать. Но у каждой истории двойное дно. Пока она спасает других, её воспоминания исчезают, а Голос в голове требует новых жертв. «Под кожей» — роман о цене эмпатии, о памяти, утекающей сквозь пальцы, и о том, как желание спасти превращается в одержимость.

© Ветлицкая Л., 2026

© Чтец, 2026

# Лина Ветлицкая

## Под кожей

Лина Ветлицкая  
Под кожей

### Глава 1. Слепой мастер

Мира стащила перчатку, и та с влажным чавканьем шлепнулась в мусорное ведро. Кожу на фалангах тут же стянуло подсохшим потом. Она выключила лампу над кушеткой, и аквариумный свет улицы по-хозяйски погладил дамасский узор на обоях. В тишину, тесня друг друга, вторглись звуки, которых не слышишь при клиенте: вентиляция утробно гудела в недрах подсобки, сетевой фильтр тревожно попискивал, а сквозняк настойчиво трепал этикетку на ящике с краской — бумажный уголок бился о пластик с тихим клацаньем.

Клиентка ушла три минуты назад. Ее химозный, приторный запах, что-то между карамелью и жидкостью для снятия лака, занял кабинет и уходить не торопился. Мира провела ладонью по кушетке, собирая использованные салфетки. Одна, высохшая, зацепилась за дерматин: Женя вечно забывала убрать за собой, и теперь на подлокотнике застывала капля зеленого мыла, похожая на мутную соплю.

Вместе с клиенткой, чернея боками, ушел шахматный конь на запястье. Крошечный, с гордо изогнутой шеей и острой резной гривой. Она пришла с готовым эскизом и историей об отце, которую рассказывала громко, торопливо, будто боялась, что Мира не поверит. У Миры на то были причины — когда касаешься кожи по сто раз на дню, привыкаешь отличать истину от бутафории.

Мира выбросила салфетки и потеряла глаза тыльной стороной ладони. Веки горели, а шершавая кожа левого предплечья, где уже двенадцать лет жила черная роза, колола и свербела. Первая татуировка всегда ощущалась теплее остального тела. Сейчас она казалась раскаленной.

Музыка ветра над дверью тревожно зазвенела. Посетитель? Ветер. Ночной, бензиновый. Мира оглянулась на вход, выдохнула и подошла к зеркалу в массивной золотой раме с изящными дубовыми листьями и гроздьями желудей. Оно висело криво с тех пор, как Лев Аркадьевич задел его плечом полгода назад, и крепление треснуло. Отражение теперь всегда казалось ниже и шире, чем его собрат по эту сторону зазеркалья.

Мира повернула голову влево, потом вправо — проверила шею, ища воспаление. На паутинке, набитой под ухом, все было спокойно. Но ниже, прямо над ключицей, заходя на плечо, проступало темнотой что-то новое. Она наклонилась ближе, почти касаясь носом стекла, и кожу прошило холодом от прикосновения. Тонкая линия, изгибающаяся лошадиной мордой. Пальцы нащупали участок, слегка возвышающийся над поверхностью, будто рисунок набили изнутри. От прикосновения линия проступила сильнее: из пепельной превратилась в графитовую, чернила будто откликнулись на тепло.

В голове заворочался, разминаясь, Голос.

«Я припас его на вечер, радость моя! Для расплаты не нужны свидетели», — произнес он с хрипотцой, как у Дженис Джоплин. Собственный тембр Миры с чужой ядовито-сладкой интонацией.

Мира замерла, держа палец на плече. Ноготь чернильно улыбался накопленной за день краской.

— Я знаю, — сказала она вслух и тут же одернула себя. В пустом салоне ее слова приложились о зеркало и увязли в обивке кушетки.

Она подошла к рабочему столу. Тату-машинка лежала на подставке — надежный напарник, японский ротор с затертой до блеска рукоятью. Металл податливо лег в ладонь и лизнул холодом. Мира проверила кабель, сдвинула рычажок, и комнату наполнило ровное и густое жужжание шмеля в банке. Она работала с ней последние пять лет и могла узнать этот гул среди десятка других. Вибрация отдалась в запястье знакомой ломотой, возвращая опору под ногами. Сейчас она, как музыкант перед концертом, просто держала инструмент и давала руке привычную нагрузку, чтобы унять дрожь.

За спиной что-то скрипнуло, Мира обернулась. Тени от жалюзи накинули на пол поло-сатую решетку. Никого. Но запах в салоне изменился. Сладкие духи клиентки вытеснил иной фимиам: сырость, подвал, что-то кислое, похожее на рассол из банки.

Сердце замерло и тут же зачастило, догоняя пропущенный удар. Она сглотнула, и слюна скользнула по горлу кислым глотком. Душок сырости без боя занял студию. Или ей чудилось? Сенсорная память иногда выкидывала такие шутки: ввевшийся в ноздри спирт вдруг сменяла вонь старого дома, карболового мыла и гари.

Мира прикрыла глаза и прижалась лбом к зеркалу, запотевшему от ее дыхания. Она знала, куда сейчас провалится. Знала и не сопротивлялась.

*13 августа, 2013 года.*

Шестнадцатилетняя Мира стояла у закрытой облупленной двери, приткнувшейся в под-воротне за гастрономом. Ее окутала вонь жареных чебуреков и дешевого ароматизированного табака — продавщицы вышли покурить в пересменку. Дверь уродливыми изгибами обнимали ржавые металлические планки. Ручка без замка, на уровне глаз нацарапано чем-то: «Тату-мастер. Стучать дважды».

Мира не знала, что вело ее. Бунт? Обида? Или просто детская безглазая вера, что с любой болью можно справиться. Заколдуй, пошепчи, и пройдет.

От дома до ржавой двери ровно сорок две минуты: маршрутка, метро и сто пятьдесят шагов. Мила повела саднящим плечом, лямка отяжелевшего рюкзака оставляла отметины: сменная футболка, полторы тысячи рублей, надкусанное яблоко, завернутое в пакет, и стар-ый альбом с эскизами. Денег после задуманного хватит на обратный билет и сомнительную шаурму на остановке. Что я творю, подумала Мира, а потом решительно дернула подбородком.

Она дважды стукнула по железу костяшками. Еще два раза.

Тишина изнутри ответила сухим, гортанным:

— Входи.

Мира шагнула во мрак.

Глаза привыкли не сразу. Темнота не хотела отступать — она стояла плотно, слоями: сначала влажные тени у порога, потом сизая полутьма у дальней стены, и только под самой лампочкой, свисавшей с балки на скрученных проводах, вызревал болезненный желтый свет. Лампа сонно раскачивалась от сквозняка, и тень на полу плясала в такт древний танец.

В сторону — прямо — в сторону — в сторону.

Перед Мирой развернул небеленые стены подвал, кустарно переоборудованный под тату-салон. Стены от пола до потолка облепили эскизы. Старые, выцветшие, с загнутыми углами и пятнами сырости, они громоздились друг на друга, как чешуя. Корабли. Розы. Черепа. Женские профили, перечеркнутые карандашными правками. Карты Таро и готические буквы, из которых складывались слова на непонятном языке.

У стены притулился верстак — грубо сколоченный, заляпанный засохшей краской. На нем теснились банки с пигментом, пузатые и мутные, ватные диски, пожелтевшие от времени, мотки суровой нити. Пахло прелым бетоном и мышами, а поверх этого слоя остро, по-меди-

цински, бил в ноздри спирт. Или хлорка. Или и то, и другое, смешанное в едкую микстуру, от которой першило в горле.

В центре комнаты, возле кушетки, в кресле-качалке замер слепой старик. Ось сипло хрипела при каждом движении, отражаясь отзвуком от нагого бетонного потолка. Его лицо напоминало сморщенную кожаную подушку с вылезшим наполнителем: глубокие коричневые борозды, седые пучки бровей. Вместо глаз мутное молоко, затянувшееся зрачки.

Старик повернул голову в ее сторону и посмотрел в пустоту, но Мире казалось, что он видит ее насквозь, получше любого зрячего.

— Садись, — он кивнул на облезлую кушетку.

Мира переступила с ноги на ногу, кроссовок с отклеивающейся подошвой прилип к полу. Она села и влажными пальцами сжала ляжку рюкзака.

— Ты от Марины? Похожа, — старик качнулся в кресле. — Та тоже убегала, все кого-то тащила на себе. Думала, если не она — то никто. А себя донести не смогла.

Он замолчал, и в наступившей тишине Мира услышала, как капает вода где-то в углу подвала. Она, угловатый, побитый жизнью подросток, не поняла тогда ни слова из его отповеди.

— Я не знаю, о чем вы, — сказала Мира. Сердце уже отбивало стенки трахеи.

— Знаешь, — старик склонил голову набок, и бельма влажно блеснули в тусклом свете. — Просто еще не поняла, что это одно и то же: убегать от себя и бежать спасти других. Оба забега кончаются одинаково. Но ты поймешь, милая, обязательно поймешь.

Она вздрогнула.

Марина... Год назад на чердаке теткиной дачи Мира нашла обугленный по краям альбом с эскизами татуировок. Старый, годов пятидесятих, с выцветшими рисунками, он лежал между стропилами, придавленный обломком кирпича. На последней странице карандашом было нацарапано: «Москва, подвал дома номер 9 по улице Кузнецова. Спроси Мастера и скажи, что от Марины».

Мира не знала, кто эта женщина, от чего она бежала и почему старик заговорил о ней так, будто они были связаны чем-то большим, чем просто совпадение. Она вообще ничего не знала про все эти бега и взрослые драмы. Ей едва исполнилось шестнадцать, и собственная трагедия еще не обрела названия. Она знала только, что в пустой, провонявшей валокордином квартире, ждет мать, которая почти не разговаривает. И что сама Мира пришла в сырой подвал к слепому старику с жуткими глазами то ли из бравады, то ли от одиночества.

Но она не стала ни поправлять его, ни врать.

— Я хочу татуировку, — выдохнула она.

— Знаю, — мастер сощурил белизну глаз. — Какую?

— Черную розу. На левом запястье.

— Розу, — он сухо усмехнулся серо-желтым ртом. — Все хотят розу.

Или бесконечность, или птицу с открытой клеткой. — Он откинулся на спинку кресла. — Ты знаешь цену?

— У меня полторы тысячи, я...

— Я не беру деньгами, — перебил старик и покачал головой. — Только памятью.

Мира моргнула.

— Это какая-то метафора?

— Если бы.

Мастер медленно поднялся, держась за подлокотники. Протянул руку, и тонкие длинные пальцы с узлами суставов почти коснулись Миры, но остановились в паре сантиметров.

— Память — все, что у тебя есть. Я возьму самую малость, одно неважное воспоминание, без которого ты обойдешься.

— Как это, неважное? — Мира с трудом оторвала язык от иссохшего неба.

— Ну, скажем, — старик снова сел в кресло, — как звали твою первую учительницу. Пустяк.

Мира колебалась всего пару секунд. Забуду — и забуду. Все равно хорошего за последние лет десять и не было особо. Что вспоминать-то? Пьющего отца, который канонически ушел за сигаретами и не вернулся? Мать, что с тех пор практически не разговаривает, плачет и сидит на таблетках? Такое забыть точно не получится.

— Ладно, — торопливо ответила Мира, пока страх не пересилил. — Согласна.

— Ты уверена? — уголок старческих губ медленно пополз вверх, через силу, будто кожа на лице стала ему тесна.

— Да.

Мастер вздохнул и грузно встал с кресла.

— Клади сюда, — он махнул на пластиковый стол рядом.

Мира пересела на кушетку, вытянула левую руку, подставила предплечье. Почти прозрачная алебастровая кожа покрылась гусиными бугорками. Старик нашупал место пальцами с желтыми ногтями. Достал откуда-то из складок плаща цыганскую стальную иглу, примотанную к деревянной рукояти толстой просмоленной дратвой. Взял с верстака бутылку мутного самогона и щедро полил руку Миры.

Первый укол напомнил порез жестяной крышкой, а потом боль расплзлась тягучим горячим пятном. Мира зажмурилась, уши заложило ватным шумом, по затылку прошел предобморочный спазм. Она хотела открыть глаза, но веки налились каменной тяжестью.

— Спи, — сказал Мастер. — Или не спи. Здесь разницы все равно не почувствуешь.

Внутри черепа вспыхнул бело-алый свет, и комната, и Мастер, и сама Мира исчезли. Подвал вытеснил искаженный калейдоскоп: чужие лица мелькали как перекидываемые книжные страницы. Обрывки фраз, звон бьющегося стекла, детский плач, чьи-то руки в крови, аптечная вывеска, поезд, удирающий в туннель. И спираль... Она начиналась из крошечного черного зрачка, расходясь тонким, почти робким витком. С каждым новым кругом линия становилась увереннее, шире, нахальнее. Она закручивалась внутрь и одновременно наружу, как если бы кто-то пытался нарисовать бесконечность, но передумал на середине и свернул в лабиринт. В центре спираль обрывалась, оставляя пустоту. И в этой пустоте, если взглянуть, витки все еще медленно и неумолимо двигались, как вода, закручивающаяся в воронку. Как галактика, свернувшаяся в черную дыру. Как дверь, открытая внутрь.

Ужас пришел, не предупредив. Сердце толкало ребра, похищая дыхание. А потом все вытеснил вакуум. Запах сирени, мамины духи. Родное, теплое, и тут же перетертое в мелкую крошку.

Мира рухнула с кушетки на бетон.

Очнулась на ледяном полу, затылок пульсировал болью, подкатывала рвота. Мастер исчез, кресло-качалка замерло. Ни шелеста, ни скрипа. На левом предплечье, замотанная пищевой пленкой, саднила черная роза. Грубая, почти детская прорисовка, но из изгибов лепестков глядело что-то живое, гипнотическое.

Рядом, в щели перевернутого ящика, белел листок плотной бумаги с неровными краями. Мира развернула его дрожащими пальцами. Почерк неровный, угловатый, какой-то нечеловеческий. Буквы прыгали, но слова были ясными, как пощечина:

*«Теперь ты видишь, девочка. Коснешься человека и провалишься в его прошлое. Увидишь то, что он прячет даже от себя: боль, стыд, страх. Увидишь и не сможешь забыть. Но это не дар и не проклятие. Это дверь.*

*Ты можешь просто наблюдать. Но если захочешь, будешь в силах изменить увиденное. Добавишь линию к татуировке, руну, символ — и чужая судьба свернет в другое русло. Боль уйдет, страх отпустит, стыд сгорит. Но за каждое изменение ты заплатишь.*

*Не деньгами, девочка, памятью.*

*Ты вольна не вмешиваться. Но тогда чужая боль останется в тебе навсегда. Будет пульсировать, расти, не давать спать. Это тоже плата, за бездействие.*

*Выбирай.*

*Когда будешь готова закрыть дверь, найди меня. Но обычно те, кто входят, уже не возвращаются».*

Мира смяла листок, взглянула на руку и попыталась вспомнить имя первой учительницы. Женщина в синем костюме, с неизменным начесом и очками на цепочке с бусинами. Как же ее... Имя отказывалось всплывать. Пустяк. Подумаешь, имя. Да ведь?..

Она вышла на улицу, асфальт блестел свежими лужами. Достала из рюкзака яблоко, развернула слипшийся пакет и надкусила. Ей показалось, что внутри нее, в самом центре черепа между извилинами, что-то шевелится. Совесть? Сожаление?..

А утром, когда мать вошла в кухню с пустыми глазами, Мира взглянула на нее — и обмерла. Вокруг материнской головы, чуть заметно пульсируя, висела зеленоватая гниlostная дымка. Что-то живое, студенистое, обволакивающее виски и лоб. Мира зажмурилась, потрясла головой, но дымка не исчезла. А внутри, в самом центре черепа, раздался вкрадчивый, мягкий шепот: «Ей так нужна помощь. Ты же можешь... Но придется заплатить».

Мира испугалась тогда до дрожи в пальцах, до ледяного купола в животе. Она не понимала, что это за голос, откуда он взялся и почему звучит так, будто всегда жил внутри нее и просто ждал момента. Единственное чего она хотела, чтобы он заткнулся и не появлялся больше никогда.

Нет, думала она. Тебя нет, тебя нет, тебя нет...

Голос усмехнулся и исчез.

Мать покончила с собой через три месяца. Тихо, без записок, без прощаний. Просто выпила все, что скопила за годы рецептов, и легла спать. Мира нашла ее утром. И тогда, глядя на неподвижное тело, она впервые поняла, что Голос внутри нее говорил правду. Она могла помочь. Могла вмещаться. Могла заплатить, но не стала. И эта мысль осталась с ней. Тяжелая, холодная, как моток колючей проволоки у сердца.

Настоящее вернулось толчком. Мира вздрогнула и оторвала лоб от зеркала. Фонарь за окном все так же разливал желтый свет, холодильник мерно гудел вентилятором, на дне кружки описывали круг чайники. Она помассировала левую руку — роза ныла, как колено на смену погоды.

Мира поднесла кружку к губам. Чай пах чем-то цитрусовым, но на вкус был просто теплой водой. Шутка Голоса? Или ее собственные рецепторы ушли вместе с очередным стертым воспоминанием? Помнила ли она вообще вкус бергамота?

Мира поставила чай на стол и, не глядя, потянулась за вазелином. Нужно смазать плечо, чтобы метка зажила без рубца. Она скинула рубашку, стянула футболку через голову. Ткань зашуршала, наэлектризовав волосы, и те взлетели вокруг пучка темным облаком, прежде чем прилипнуть ко лбу. Она осталась в спортивном бюстгальтере и провела ладонями по рукам, обнимая себя.

Татуировки покрывали кожу от запястий до плеч, заходили на ключицы, спускались к лопаткам. Мира погладила пальцем нового шахматного коня.

— Сколько еще? — спросила она отражение.

То не ответило, только наклонило голову на пару секунд позже, чем Мира наклонила свою.

Где-то внутри, под кожей, за слоями пигмента, кто-то ухмыльнулся.

## Глава 2. Цветок для мертвой девочки

Утренний свет сочился сквозь жалюзи и расписывал сонные стены тигриными полосками. Салон всегда просыпался медленно, нехотя, как старый кот, который знает, что спешить некуда. «Под кожей» не был похож на классическую тату-студию. Скорее на старый кабинет, вывезенный из пражского особняка и зачем-то втиснутый в цоколь московской девятиэтажки.

Мира прошла вдоль полок, поправила склянку с ультрамарином, которая вечно кренилась набок, и включила автоклав. Тот отозвался низким, утробным гудением. В зеркале, узнике золотой рамы, отражалось все: дубовые полки с пузатыми флаконами, гравюра с мышечными волокнами, подписанная готическим шрифтом, розовые ретро-наушники на гипсовой голове Гиппократата. Лев притащил это зеркало с блошиного рынка в прошлом году, сказал, что оно добавит салону «исторической аутентичности». Старинное стекло с легкой рябью мерцало зеленоватой глубиной. Рама казалась слишком тяжелой для этой стены, слишком пышной для этого места, но Лев Аркадьевич был непреклонен, и никто не решался ее снять.

Розововолосая Женя стояла у стойки администратора, красила губы жидкой помадой цвета фуксии и одновременно болтала с кем-то по телефону, зажав его между подбородком и худым плечом. Смартфон соскользнул с форменной рубашки, и Женя поймала его резким движением, от чего кисточка в левой руке дернулась, оставив на щеке бледно-розовый штрих.

— Твою мать, — сказала она беззлобно, завершила звонок и потянулась за мицелляркой. — Мир, скажи честно: если мужик пишет про душ после первого же свидания, это диагноз?

Мира не ответила. Она села за стол и попыталась дорисовать на планшете эскиз пиона. Получалось так себе. Лепестки выходили слишком пухлыми, как у капусты, а ей хотелось чего-то девичьего, хрупкого, такого, что напоминало бы о нежности, вечности...

Автоклав закончил цикл: шипение, щелчок, долгий облегченный выдох пара, от которого на внутренней стороне стеклянной дверцы оседали мутные горячие капли. Нагретый металл и стерильность: привычно и успокаивающе.

Новый шахматный конь на коже все еще ощущался фантомной теплотой. Мира потеряла плечо о рубашку и ткань шершаво царапнулась.

— Диагноз, — подтвердила она наконец. — Но ты все равно ответишь.

— Разумеется, отвечу, — Женя промокнула щеку и критически осмотрела себя в зеркало. Розовые волосы торчали в разные стороны, но ей шло. — Потому что у него «Лексус».

— Веский довод.

— Часто единственный, который имеет значение, — Женя игриво задрала левую бровь и рассмеялась.

Из подсобки вышел Лев Аркадьевич в неизменной мелко-клетчатой рубашке и холщовом фартуке, который носил только когда возился с химией. Борода его сегодня казалась серее обычного, и от этого лицо выглядело уставшим. Он прошел к шкафчику, расправил на стойке новый прайс и поправил бюст Гиппократата — наушники опять съехали набекрень после вчерашней уборки.

— Женя, убери лаки со стойки, — сказал он, кивнув на батарею разноцветных пузырьков возле старинного дискового телефона. — Клиенты не должны думать, что тут маникюрный салон.

— Клиенты думают, что тут музей, — ехидно парировала Женя, но лак убрала. — Кузьма вчера так и сказал.

— Что-то при мне Кузьма такого не говорил ни разу.

— Исключительно из чувства трусливой благодарности. Скажи он такое, вы, Лев Аркадьевич, его своей тряпкой для полироли прямо по пономам отлупите. И плакали его «профессиональные консультации по нательным рисункам». — Женя взбила челку и лукаво покосилась на Миру. — А вообще, он давно сюда не за консультациями ходит...

Мира закатила глаза. А Лев Аркадьевич хмыкнул в бороду и посмотрел на нее долгим, оценивающим взглядом, каким смотрел каждое утро, и чуть заметно кивнул. То ли поздоровался, то ли проверил, что она еще здесь. Мира давно к такому привыкла.

Дверь салона открылась, сопровождаемая трелью металлических трубочек. Мира бросила взгляд на часы: без пяти минут одиннадцать. Клиент пришел раньше, а такое случалось редко. Чаще опаздывали, путали дни или вовсе забывали, что записаны. Женя тут же выпрямилась, стянула с шеи наушники, и ее лицо приобрело профессионально-приветливое выражение, которое Мира называла «режим работника месяца».

На пороге стоял мужчина лет сорока. Высокий, в дорогом, но измятом пальто верблюжьего цвета. Из ворота выглядывала рубашка-поло с расстегнутой верхней пуговицей. Запах, который он принес с собой, раскололся в теплом воздухе: дорогой удовый одеколон, мятный освежитель для рта, застарелый табак и что-то еще, похожее на мокрую офисную бумагу.

— Игорь? — уточнила Женя, сверяясь с планшетом. — Вы на одиннадцать. Пион?

— Да. — ответил мужчина. — На левом предплечье. Я отправлял картинку.

Женя заблокировала планшет. Он перезванивал трижды, говорил, что очень важно, чтобы цветок был точь-в-точь.

— Дочка любила пионы, — добавил Игорь и улыбнулся. Улыбка получилась быстрой, профессиональной, отработанной.

— Садитесь пока, — Мира указала на кожаный диван под лампой с зеленым абажуром, какими освещали банковские конторы в начале века. — Я подготовлю эскиз.

Она ушла к рабочему столу, чувствуя, как взгляд Игоря прошелся по ее спине с беглым мужским интересом. Мира включила лампу — та загудела, разгораясь, и вылила на стол холодный белый свет. Она еще раз открыла его сообщение: бледно-розовый пион, почти прозрачный по краям. Цветок напомнил ей кремовую розу на торте, но она не могла вспомнить, на каком именно торте и кто его держал в руках. Провалы давно не настораживали, привыкла. Ее память напоминала журнал с купонами американской домохозяйки, из которого аккуратно вырезали страницы, а номера оставшихся перепутали.

Она доработала рисунок на кальке, убрала лишние тени — клиенты редко понимали, что на коже тени от пигмента ведут себя иначе, чем на бумаге. Пальцы работали сами: нажать на стилус, провести, растушевать, обвести. Монотонность успокаивала. Лев ушел к себе, автоклав окончательно затих, слышалось только дыхание Игоря и мягкий стук Жениных ногтей по экрану.

— Готово, — сказала Мира через десять минут. — Проходите.

Игорь поднялся с диванчика, и кожа под ним скрипнула, выдохнув воздух из продавленных пор. Он снял пальто, аккуратно повесил на вешалку у входа, и Мира заметила, что рубашка у него подмышками влажная, хотя в салоне было прохладно. К запаху табака примешался легкий шлейф пота, заметный, если подойти близко.

— Садитесь. Руку на подлокотник.

Он повиновался. Предплечье легло на кушетку — чистая кожа, ни одной татуировки. Мира натянула перчатки, латекс хлопнул по запястью сухим щелчком. Она протерла руку спиртовой салфеткой. Кожа Игоря пошла мурашками от холода, волоски встали дыбом, но сам он не шелохнулся.

— Не страшно? — спросила Мира, поднося машинку. Вопрос был ритуальным, она часто задавала его новым клиентам.

— Уже давно не страшно, — ответил он и снова улыбнулся деловой улыбкой. — Страшно было, когда дочка... — осекся.

Она приложила трафарет, и мир сорвался с резьбы. Как же она устала... Касание чужой кожи — и реальность ломается, засвечиваясь белой вспышкой. В висках полыхнуло, уши

наполнил несуществующий звон — вибрация где-то в костях черепа. Мира зажмурилась на секунду, а когда открыла глаза, салон растворился.

Мокрый скользкий асфальт отражает блики фонарей. Дворники скребут по лобовому стеклу с ритмичным чмоканьем — туда-сюда, туда-сюда. Мира сидит на заднем сиденье машины. Точнее, парит где-то позади, видя происходящее с той безучастной ясностью, с какой смотрят запись с камер наблюдения. За рулем — Игорь. Моложе года на три, но уже с морщиной между бровей, которую не разгладить. На пассажирском спереди — девочка лет двенадцати. Светлые волосы собраны в хвост, на коленях рюкзак с нашивкой в виде единорога. Она что-то говорит, не оборачиваясь. Слов не слышно, но Мира видит, как шевелятся ее губы, как она улыбается уголком рта, совсем по-взрослому.

Игорь поворачивается к ней, и Мира замечает, как его рука соскальзывает с руля медленнее, чем нужно. Зрачки у него расширены, веки тяжелые, и в салоне кроме одеколona висит резкий, спиртовой оттенок, перебивающий даже запах освежителя, болтающегося под зеркалом. Он пьян. Уверенно пьян, на той стадии, когда человек уже не чувствует, насколько замедлены его реакции, но считает, что контролирует ситуацию.

Машина виляет. Не сильно, но достаточно, чтобы дворники сбились со своего тревожного ритма. Девочка говорит громче, Игорь отмахивается. Смеется.

Столб вылетает из темноты, и свет фар выхватывает бетонную опору рекламного щита. Удар. Глухой, железный, с хрустом пластика и звоном разбитого стекла. Мира ощущает его всем телом, хотя тела у нее здесь нет — фантомный толчок в грудь, как если бы кто-то хлопнул ладонью по грудной клетке и задержал руку. Подушка безопасности раскрывается с истеричным шипением. Девочка кричит. Короткий, оборванный крик срывается в хрип, а потом затихает.

Дождь продолжает барабанить по крыше, лобовое стекло треснуло паутиной, но держится. Игорь отталкивает подушку, смотрит на девочку. Та не двигается. Лицо в крови, хвост развязался, светлые волосы прилипли к щеке, окрашиваясь красным. Он трогает ее плечо. Дергает. Зовет по имени, но Мира слышит только интонацию, и у нее сводит живот. В голосе мужчины не отчаяние, нет... Это паника другого рода: животный страх за себя, расчетливый ужас человека, понимающего, что его жизнь сейчас рухнет.

Игорь открывает дверь, вылезает наружу. Шаги по лужам громкие, размазанные. Заходит за угол, чтобы место аварии скрылось из виду. Достает телефон. Звонит. Не в скорую... Вызывает такси. Дождь хлещет по лицу, но он не замечает. Через десять минут садится в такси и уезжает, не оглядываясь. Девочка остается в машине.

Мира хотела закричать, но не могла. Видения не давали голоса.

Потом — пропущенный кусок, склеенная пленка. Отделение полиции. Игорь сидит на стуле, все в том же пальто, теперь мокрым, пахнущем псиной и перегаром. Пишет заявление. «Водитель скрылся с места ДТП». Буквы прыгают не потому что он пьян — к этому моменту Игорь протрезвел и действует с холодной четкостью. Ложь ложится на бумагу ровными строчками.

Последний кадр: больничная палата. Девочка. Та, что была в машине. Она лежит на кровати, опутанная трубками. Аппарат ИВЛ мерно вздыхает, нагнетая воздух в легкие с механическим присвистом. Руки девочки поверх одеяла — тонкие, с детским маникюром. Розовый лак облупился на указательном пальце. В углу палаты — стул. На нем сидит женщина, не старая, но с лицом, из которого ушла вся жизнь. В бледной безвольной ладони зажата ручка с треснутым колпачком, на коленях — равнодушный печатный лист: «Протокол установления смерти мозга...».

Видение схлопнулось. Мира моргнула. Салон вернулся, лампа светила в глаза, машинка жужжала в руке. Пахло спиртом. Игорь сидел перед ней, живой и невредимый, и смотрел выжидательно, пока она прижимала трафарет к его предплечью дольше, чем требовалось.

— Что-то не так? — спросил он. И снова эта улыбка, скользкая как мокрое мыло.

— Все так, — Мира услышала свой голос со стороны: ровный, даже скупающий. — Рукой не двигайте. Начинаем.

Она опустила иглу. Машинка пошла по контуру, оставляя черный след — границу будущего цветка. Игорь смотрел прямо перед собой, в стену с плакатами. Когда игла прошла по чувствительному месту у запястья, он даже не поморщился. Болевой порог высокий, отметила Мира. Удобно.

В голове прокручивались кадры. Девочка. Дождь. Пальто. Она видела шрам на его левом виске — старый, побелевший, прикрытый волосами. Видение услужливо подсказало: отметина от удара о стойку в момент аварии. Он носил его как молчаливое напоминание. О дочери ли? Или о себе?

— Вы сказали, дочка погибла? — спросила Мира, не отрываясь от работы. Игла выписывала дугу лепестка.

Пауза. Игорь шумно вдохнул носом. Запах пота усилился.

— В аварии. Три года назад. Водитель сбежал.

Он произнес это ровно, заученно. Повторял версию, которую выстроил для следователя, для жены, для самого себя. Три года повторений превратили ложь в историю, историю в факт, а факт — во что-то почти неотличимое от правды. Почти.

— Соболезную, — сказала Мира и на секунду остановила машинку. — Дочку как звали? Снова пауза.

— Алиса.

Он соврал, и Мира это знала. Она не видела имени девочки в видении, но по тому, как дернулся кадык Игоря, как его пальцы бессознательно, на полсекунды, сжали подлокотник кушетки, поняла, что имя другое. Он не хотел называть настоящее. Настоящее было уликой.

— Красивое имя, — соврала Мира в ответ. — Я сделаю тату бесплатно. В память.

Игорь так резко повернул голову, что игла чуть не соскочила с линии.

— Правда? Почему?

— Потому что некоторые вещи нельзя измерять деньгами, — она говорила спокойно, вытирая лишнюю тушь ватным диском. — Цветы для мертвых должны быть настоящими.

Он не понял второго смысла. Кивнул, и взгляд снова ушел в стену, но Мира заметила, как напряглись его желваки. Ее интонация явно не совпадала с профессиональным ритуалом, но он не стал развивать мысль. Клиенты редко их развивают, они приходят не думать, а получать. Тату, облегчение, прощение, которое никто не давал.

Мира продолжила работу.

Час. Два. Женя принесла чай в кружке с надписью: «Работа не волк, волк — это я». Кружка пахла средством для мытья посуды. Мира сделала глоток, не чувствуя вкуса.

Пион на предплечье Игоря обретал плоть. Лепестки слоились, сердцевина темнела переходами от серого к черному. Она начала дорисовывать деталь, которой не было в эскизе. Тонкие шипы. Почти незаметные, спрятанные в тени нижних лепестков. Маленькие, злые, заостренные к центру цветка, будто он защищается. Рука двигалась сама — Мира знала, что делает. Каждый шип становился меткой, символом, уколом совести, что прорастет под его кожей и распустится ядовитым соцветием.

— Больно? — спросила она, заметив, что Игорь сжал зубы.

— Терпимо, — выдавил он, втянув воздух тонкой плоской стружкой.

— Потерпите, скоро станет полегче, — соврала Мира.

Она закончила на исходе третьего часа. Вытерла тату, нанесла заживляющую мазь — та пахла пантенолом и отдавала холодком на кончиках пальцев. Наложила пленку. Латекс перчаток неприятно скрипнул, когда она их снимала.

— Готово. Заживет через пару недель. Пленку не снимайте до вечера. Потом обрабатывайте пантенолом. — Она протянула тюбик. Их пальцы снова встретились на мгновение, но видения не было. Дар срабатывал только при первом касании, и Мира была этому рада. Второй раз смотреть на эту историю она бы не выдержала.

Он встал, размял плечи, посмотрел на руку. Пион поглядел в ответ — яркий, детальный, живой.

— Спасибо, — сказал Игорь. — Правда. Я... — запнулся. — Я позже занесу деньги. Или сейчас? Подождите.

— Бесплатно, — напомнила Мира. — В память.

Он кивнул, не глядя в глаза. Забрал пальто. Шерсть шуршала, пока он всовывал руки в рукава. На пороге обернулся.

— Вы не представляете, как это важно. Она бы оценила...

— Возможно, — сказала Мира. — Если бы увидела.

Игорь вышел, музыка ветра проводила его презрительным переливом. Запах одеколona еще висел в воздухе, смешавшись с нагретой смазкой от тату-машинки. Женя подошла к стойке, уперлась локтями и посмотрела на Миру долгим взглядом.

— Бесплатно? Ему? Ты серьезно? У него «Мерседес» за дверью, между прочим. Свежая Ешка.

— Угу.

— И что, у него денег нет? Или ты из альтруизма?

— Из вредности, — ответила Мира и пошла зачищать рабочее место.

— Вредность, — крикнула Женя вдогонку, — это когда ты кладешь на кусок сахара меньше, чем просят. А это... — она махнула рукой в сторону двери. — Я не против благотворительности, но у нас аренда.

— Аренду платит Лев Аркадьевич.

— Вот именно. И он спросит, почему выручка на три тысячи меньше.

Мира вернулась, собрала со стола неудачные зарисовки, порвала стопку на четыре части и бросила в ведро. Они приземлились поверх салфеток, испачканных сукровицей и остатками пигмента.

— Я скажу ему, что клиент не заплатил, — она потерла лоб и подтянула на место лямку майки под фланелевой рубашкой.

— И он спросит почему, — Женя постучала ручкой по столу.

— А я скажу, что он мне не понравился.

Женя фыркнула, но спорить не стала — то ли устала, то ли поняла, что Мира все равно не скажет правды. Она отвернулась к ресепшену, поправила планшет, и в этот момент ее локоть задел подставку с визитками. Пластиковый держатель покачнулся, и визитки веером рассыпались по стойке. Глянцевая бумага зашуршала, как крылья неловкой птицы.

— Твою мать, — вздохнула Женя и принялась собирать.

Мира отошла к раковине, открыла кран. Вода ударила в фаянс, и пар от горячей струи осел на кране тонкой пленкой. Она намылила руки мылом без отдушек и терла дольше, чем требовалось. В ноздри ударило щелочью и чем-то больничным. Под ногтями все еще оставался черный пигмент, он вымывался плохо, забиваясь в микротрещины кожи.

— Я слышал, как эта штука звенела, — кивнул Лев Андреевич на музыку ветра, выйдя из подсобки, и голос прокатился по пустому салону глуховатым эхом. — Клиент ушел?

— Не штука, а амулет для привлечения удачи и гармонизации пространства, — обиженно отозвалась Женя, не отрываясь от визиток. Она принесла ее на прошлой неделе и полчаса крепила на дверную раму. — Ушел. И не заплатил.

— Вот как. — Лев остановился у стойки и посмотрел на Женю, потом перевел взгляд на Миру. Его глаза, темные и глубоко посаженные, изучали ее лицо. — Почему?

— Потому что я так решила, — сказала Мира, закрывая кран.

Лев ничего не ответил. Он подошел к кушетке, на которой десять минут назад сидел Игорь, провел по подголовнику и потер пальцы друг о друга, будто стирая невидимый след.

— Игорь, — произнес он задумчиво. — Тот, что ли, с пионом? Женя показывала эскиз. Хорошая работа. Цветок для погибшей дочери, кажется?

— Да, — кивнула Мира.

— А дочь-то правда погибла?

Вопрос повис в воздухе, и Женя замерла с визиткой в руке. Мира вытирала руки полотенцем и не оборачивалась.

— Еще жива, — ответила она наконец. — Была во всяком случае, когда я делала тату. В коме. Мать должна была отключить ее от аппаратов.

— Ты откуда знаешь? — Женя вытаращила густо подведенные глаза. — Он же не говорил...

— Говорил, когда ты в туалет выходила, — в который раз за день соврала Мира.

Лев медленно кивнул, будто получил подтверждение чему-то. Подошел к окну, отдернул жалюзи. За сеткой кружилась пыль, стекло дребезжало от проезжающих машин.

— Иногда татуировка больше, чем просто рисунок, — сказал Лев, не оборачиваясь. — Иногда она меняет изнутри. Татуировка — это ведь своего рода договор. Между человеком и его прошлым, между ним и его кожей, между тем, кем он был, и тем, кем решил стать. Он отдает частицу плоти и получает символ. Но он должен подписать такой договор, Мира, дать свое согласие. А если сделать это за него, он будет носить клеймо на себе, не зная условий. А когда узнает — будет поздно. Чернила впитались, игла оставила след. И он пойдет по жизни с чужой подписью на своей коже и будет гадать: что теперь за нее должен? Ты веришь в это, Мира?

— Я верю в то, что вижу, — она настороженно посмотрела на его затылок.

— А что ты видишь?

Мира помолчала. Полотенце в ее руках смялось, и она бросила его в корзину для белья. Та стояла у стены, пованивая застарелым стиральным порошком.

— Я вижу кожу, — наконец сказала она. — Эпидермис, дерму, жировой слой. Вижу, как ложится пигмент. Вижу, где будет рубец, если не ухаживать. Все остальное — не мое дело.

Лев повернулся и скептически посмотрел на нее. Мира спрятала глаза. Ее тайна висела между ними тучным облаком уже несколько лет. Она понимала, что Лев знает. Но он никогда не задавал прямых вопросов, не приглашал к откровенности, не требовал признаний. Только изредка заводил между делом философские разговоры, вроде бы в сторону, вроде бы ни о чем, и они ложились ровно в самую суть.

— Кожа — это граница, — повернулся к ней Лев. — Между тем, что внутри, и тем, что снаружи. Хороший мастер знает, что можно пересечь эту границу. А плохой думает, что может сделать это без последствий. — Он замолчал, посмотрел на свои руки, а когда поднял взгляд, его глаза наполнились такой тоской, что Мира стало почти физически больно за него. — Мир не прощает бесплатных чудес. Если ты отводишь от человека беду, ему предназначенную, она падает на другого. Если без спроса исцеляешь чужой шрам — он появляется у тебя. Так устроено равновесие: ничто не исчезает, ничто не возникает из пустоты. И вопрос не в том, платить или нет. Вопрос в том, готов ли ты увидеть счет. Готов ли ты узнать, что цена спасения — это часть тебя самого.

— Вы о чем? — спросила Женя. Она уже собрала визитки и теперь смотрела на них обоих с легкой тревогой.

— О профессиональной этике, — ответил Лев, и голос его снова стал обычным, будничным. — Мира, закрой смену. Завтра у тебя два клиента, не считая того, кому ты переделываешь эскиз. И да, — он помолчал, — если Игорь вдруг объявится снова, отправляй его ко мне.

— Не объявится, — Мира посмотрела в пол.

— Знаю. — Лев, не глядя на нее, направился к двери в подсобку. У порога остановился, взял с полки баночку с зеленой эвкалиптовой мазью и поставил на край стола, поближе к Мире. — На случай, если плечо будет болеть. Иногда новые линии саднят сильнее старых.

Он вышел. Дверь за ним закрылась с мягким щелчком, и в салоне снова стало тихо. Мира покосилась на баночку, та сиротливо замерла на столе — маленькая, из темного стекла, с затертой этикеткой, на которой буквы «Мазь» были написаны от руки. Участок ниже ключицы, будто в ответ на слова Льва Аркадьевича, затрепетал знакомым зудом. Мира поморщилась и приложила к нему ладонь сквозь рубашку. Она знала, что там. Рядом с лошадиной мордой из багряной воспаленной кожи проступают пионовые шипы.

— Станный он сегодня, — заметила Женя, натягивая желтый дождевик.

— У всех бывают философские дни, — Мира тряхнула головой, отгоняя непрошенные выводы.

— У Льва Аркадьевича скорее выдаются редкие дни без философии. — Женя застегнула молнию, подхватила рюкзак. — Ладно. Я домой. Не сиди тут допоздна. И не делай больше никому бесплатных тату, даже если клиент будет самим Джаредом Лето.

— Джареду Лето я бы сделала скидку.

— Десять процентов, не больше. — Женя погрозила пальцем и выскользнула за дверь.

Мира осталась одна и взяла баночку с мазью. Отвинтила крышку, и в ноздри влез резкий, почти обжигающий запах эвкалипта, смешанный с еще какой-то незнакомой горьковатой травой. Так пахло в кабинете у Льва, когда он, по его словам, «проветривал мысли».

Она сморщила нос, закрыла банку и поставила обратно. Потом выключила свет. Лампы погасли с коротким гудением, и салон погрузился в оранжевый полумрак. Мира накинула куртку, проверила, выключен ли автоклав, и вышла, заперев дверь. Улица встретила ее выхлопными газами и приближающимися холодами. Где-то далеко залаяла собака.

### Глава 3. Вишневый сад

Мира пошла домой. Плечо саднило все сильнее. В голове крутились слова Льва: «Плохой мастер думает, что может пересечь границу без последствий». Фонарь за спиной моргнул, всего на долю секунды, и тень от ее фигуры на асфальте дернулась не в ту сторону, будто кто-то шел за ней и на мгновение обогнал.

Ночью уснуть не получилось. Сначала лежала в темноте, слушая, как холодильник за стеной включает и выключает компрессор, а на улице щелчками реле моргает светофор. Едва уловимо, если вслушаться. Потом встала, налила воды из-под крана, поморщилась от хлорного душка и выпила залпом.

В голове ровным контуром ложился план. Шипы сработают не сразу, часов десять-двенадцать. Сначала зуд. Потом сны. Потом нестерпимое желание позвонить, признаться, прийти. Не магия в привычном смысле — Мира не верила в заклинания. Скорее, психосоматика, ускоренная тем, что Лев Аркадьевич называл «даром прикосновения». Татуировка становилась триггером. Канал между сознанием и тем, что клиент прятал даже от себя, разрушался быстрее, если правильный символ ложился на правильную кожу.

Она знала, что Игорь сознается. Знала по опыту. И не чувствовала ни жалости, ни злорадства. Только профессиональное удовлетворение хирурга, закончившего сложную операцию.

Или убийцы. Граница была тоньше, чем ей хотелось бы думать.

Новость пришла быстро. Утром Женя скинула в мессенджер ссылку на статью местного новостного портала: «Смотри, твой вчерашний клиент». Заголовок: «Риэлтор три года скрывал вину за ДТП с дочерью». Дальше — сухие строки: пришел сам, написал явку с повинной, дал показания. Дочь три года лежала без сознания, подключенная к аппаратам. Вчера вечером мать подписала согласие на отключение. Девочки больше нет.

Мира прокрутила страницу до комментариев: «Наконец-то справедливость!», «Сдохни, тварь!», «И что, эта падаль сама призналась? Не верю!». Она отложила телефон. Экран потух, а потом засветился снова — Женя прислала смешного кота, но Мира не стала отвечать.

Она сидела на кровати, подобрала под себя ноги, и смотрела в стену. На обоях расплывалось прошлогоднее пятно от протечки — у соседней сверху прорвало трубу. Пятно очертаниями напоминало Италию. Или перевернутого зайца. Мира смотрела на него уже год и все не могла решить.

Что-то внутри было не так, что-то физическое... Сосущая пустота в желудке как после долгого голода. Она машинально провела рукой по предплечью, и роза обожгла пальцы. Голоса не было, но она знала, что он придет. Всегда приходит.

Мира снова дошла до кухни и открыла холодильник. В дверце, прилипнув дном, стояла банка вишневого варенья — тоже прошлогоднего, от Жениной мамы. Этикетка отклеилась с одного края и топорщилась. Мира открутила крышку. Металл скрипнул, в лицо пахнуло холодом.

Ничего.

Она наклонилась ближе, понюхала. Еще раз... Едва уловимый оттенок сахара и ягод. Но сада — мокрой листвы, нагретой земли, пыльцы на пальцах — больше не было.

Мира поставила банку на стол, ложкой зачерпнула варенье и положила в рот. Сладкое. Текстура — сироп и ягодные волокна. Язык чувствовал консистенцию, температуру, вес. Но вкус стертый, блеклый, неопознаваемый.

Мира проглотила густую субстанцию. Ложка звякнула о раковину. Руки тряслись мелкой дрожью, как после долгой работы с машинкой на высоких оборотах — вибрация уходила не сразу. Она прижала ладони к лицу, под веками поплыли розовые пятна.

Мира жмурилась, пытаясь вызвать картинку: теткина дача, тропинка, мама стоит на стремянке в старой папиной рубашке и смеется. Ягоды падают в ведро с упругим стуком, густая теплота раздавленных вишен обволакивает босые ноги. Все это растворялось, уплывало в темноту. Мира помнила, что сад был, помнила мамины руки, но больше их не видела. И вкус вишни тоже пропал.

— Где они? — прошептала Мира. — Где?

И Голос ответил.

«Он получил по заслугам, радость моя. А ты — по счету. Разве не замечательно?»

Мира отдернула руки от лица. Утренний свет заливал кухню, выбеливая стены до рези в глазах. На столе — банка варенья, недопитая вода, надтреснутая сахарница в виде совы.

— Черт бы тебя побрал! — Мира вцепилась в волосы.

Тишина, потом смехок. Сухой, короткий.

«Ты же помогла, а сад все равно уже не вернешь. К чему грустить, милая? Тем более, к тебе гости».

Она уперлась руками о раковину, подышала квадратом, успокаиваясь. Через пару минут в дверь позвонили, и Мира вздрогнула. Долгий, настойчивый звонок.

На лестничной клетке стоял Кузьма, переминаясь с ноги на ногу. Он был в гражданском — старая джинсовая куртка, под ней серая футболка, обтягивающая широкую грудь. Куртка намокла на плечах, и от ткани шел запах уличной пыли, прибитой дождем, и чего-то теплого, домашнего, что Мира не сразу опознала. Пирожки. В его руках покачивался пакет, и от него

поднимался тонкий, дрожащий пар, пахнувший дрожжевым тестом, корицей и печеными фруктами.

— Привет, — он протянул Мира пакет. — Мама вчера напекла. Говорит, ты слишком худая.

— Я не худая, — сказала Мира. — Я жилистая. А твоя мама меня ни разу не видела.

— Видела, на фото... — Кузьма покраснел. — Но у мамы все худые. В общем, там с яблоками и вишней. Она всегда кладет два вида, чтобы можно было выбрать.

Мира приняла пакет. Ее пальцы на долю секунды, случайно, коснулись его, но видение не пришло. Дар молчал. Иногда он давал ей передышку, и она не знала, благодарить за это или бояться. Молчание Голоса иногда значило, что он копит силы.

— Передай ей спасибо.

— Передам. — Он оперся на дверной косяк. — Я, вообще-то, не только из-за пирожков.

— Проходи, — сказала она и посторонилась.

Кузьма шагнул через порог, и приходящая сразу съежилась на фоне крупного, широкоплечего мужчины, похожего на медведя, который забрел не в ту берлогу и теперь стесняется своих габаритов. Кузьма наклонился, чтобы расшнуровать ботинки, и Мира заметила, что на правом, рядом с прорехой, торчал узелок нитки — кто-то пытался зашить, но криво.

— Не разувайся, — сказала она. — У меня не убрано.

Он все равно снял обувь и аккуратно поставил у порога носками к выходу.

Кузьма прошел на кухню, и Мира заметила, как он осматривается: быстро, цепко, но без профессиональной оценивающей пристальности. Его взгляд скользнул по старым выцветшим обоям с коричневыми разводами в местах стыков. По покосившейся вешалке в прихожей, на которой сиротливо висела единственная куртка. По трещине на потолке, расходящейся от люстры тонкой извилистой молнией.

— Чай будешь? — спросила Мира.

— Буду. Если можно, без сахара. Мне, похоже, надо худеть.

Мира включила чайник, достала две кружки — одну со сколом, вторую целую. Треснутую поставила себе. Развернула пакет с пирожками и сняла промасленную салфетку: шесть штук, еще теплые, присыпанные сахарной пудрой. Один, с вишней, протек, и на полиэтилене расплылось темно-красное пятно. Она тронула липкость пальцем.

— Про «худеть» мама сказала?

— Неа... Она бывший фельдшер, — Кузьма взял пирожок, надкусил и усмехнулся с набитым ртом. — У нее все вокруг либо недокормленные, либо перекормленные. Нормы не существует. Но я для нее тощий, хотя во мне под сто кило.

Мира улыбнулась.

— Она у тебя боевая.

— Боевая, — согласился Кузьма, но улыбка его стала чуть тише. Он опустил глаза на стол, покрутил пирожок в пальцах. — Пять лет как на пенсии. Сначала еще держалась... Говорила, что наконец-то займется огородом, цветами, внуками. Внуков нет, огород зарос крапивой, и последний год она начала сдавать. Не сильно... Так, по мелочам. То чайник на плиту сухой поставит. То ключи в холодильник положит. То позвонит мне в три ночи и спросит, почему я до сих пор не пришел ужинать, хотя я у нее днем был.

Он замолчал, откусил пирожок, но жевал дольше обычного.

— Я стараюсь приходить почаще. Через день, а то и каждый вечер, если смены позволяют. Посидеть, чаю попить, послушать, как она ругает соседку. Если ругает — это хороший знак. Значит, память еще при ней. Когда перестанет, вот тогда будет страшно.

Мира ничего не сказала. Она смотрела на Кузьму, на его крупные руки, на то, как он тщательно стряхивает крошки с колен, на складку между бровей, которая снова стала глубже, и

думала о том, что он платит по-своему. Не памятью, но временем, нервами, сердцем. И никогда не жалуется.

— Ты сказал, пришел не только из-за пирожков, — напомнила она.

— Да. — Кузьма положил на стол ладони с широкими пальцами и коротко остриженными ногтями. Мира заметила на костяшке указательного старый шрам, белый, почти незаметный. — Я хотел спросить... Только не знаю, как.

— Прямо.

— Прямо не получается. — Он усмехнулся невесело. — Я участковый, а не следователь. Привык, что люди мне врут по мелочи, и я делаю вид, что верю. А ты не врешь, просто не договариваешь.

Чайник закипел и отключился. Мира заварила чай и поставила кружку перед Кузьмой. Он обхватил ее ладонями, но пить не стал.

— Дело риэлтора, — сказал он наконец. — Игоря этого. Он пришел в участок вчера вечером. Сам, понимаешь? Не по вызову и не после допроса. Сел и написал явку с повинной. Три года дело висело, а тут — закрыли за один вечер.

— Я читала.

— Я знаю, что читала. Женя скинула тебе ссылку, — он поднял глаза. — Она мне тоже скинула. Мы с ней иногда переписываемся.

Мира поднесла кружку к губам. Чай был горячим, почти обжигающим. Она пила его маленькими глотками, чтобы дать себе паузу.

— И что тебя смущает? — спросила она.

— Меня смущает, что он был у тебя за день до этого. Сделал тату, вышел из салона, а вечером поехал в участок. Ты не находишь это странным?

— Люди делают татуировки, чтобы что-то изменить. Он хотел изменить свою жизнь, и у него получилось.

— Три года не хотел. А тут за один день?

— Значит, созрел.

Кузьма тоже отпил чай. Поморщился то ли от горечи, то ли от того, что собирался сказать дальше. Поставил кружку ровно по центру блюдца.

— Я не следователь, — повторил он тише. — И я не буду спрашивать, что именно ты скрываешь, потому что имеешь на это полное право. Но я хочу, чтобы ты знала: если тебе нужна помощь, любая, ты скажи...

— Почему ты решил, что мне нужна помощь? — Мира опустила кружку, и та нервно чмокнула дном столешницу.

Он посмотрел на нее долгим обеспокоенным взглядом.

— Ты выглядишь так, как выглядела моя мама, когда работала на две ставки в реанимации. Как будто что-то высасывает тебя изнутри. Ты явно не спишь. Ты худая. И у тебя под глазами синяки, которые не скрыть даже тусклым светом вашего салона. Я заметил еще когда в первый раз пришел.

Мира провела пальцем по краю кружки. Треснутая керамика была шершавой, и на изломе, там, где глазурь обнажила пористую рыжую глину, чувствовался крошечный скол — острый, как кончик иглы. Она машинально терла его большим пальцем, словно хотела сгладить, убрать, сделать кружку целой, хотя знала, что это невозможно.

— Это не синяки, — сказала она. — Это тени от усталости. Работа такая.

— Нет. — Он упрямо покачал головой. — Усталость — это когда человек много работает, плохо спит, пропускает обед. А ты выглядишь так, будто... не знаю... таешь. Каждый раз, когда я тебя вижу, тебя чуть меньше. Вроде такая же как была, но... Не могу объяснить, извини.

— Не извиняйся, — сказала Мира. — Ты на удивление точно формулируешь то, что не можешь понять.

Он слабо усмехнулся. Мира смотрела на него и думала, что Кузьма ближе к правде, чем ей хотелось бы. Ближе, чем Лев, который знал, но молчал. Ближе, чем Женя, которая чувствовала, но предпочитала не спрашивать. Кузьма же спрашивал. Сидел на колченогом табурете напротив нее и не отводил глаз.

— Понял, ответа я видимо не дождусь... — Он снова улыбнулся.

Они посидели в тишине.

— Мир, а как ты начала работать мастером? Как вообще к этому пришла?

Мира отпила чай и замолчала.

Первый клиент пришел через год после подвала. Мира бросила школу, не поступила в колледж, жила в съемной комнате на окраине, которую оплачивала случайными заработками: то официанткой, то уборщицей, то курьером. Но главным ее занятием, тайным, почти подпольным, стали татуировки.

Она купила дешевую машинку на «Авито», переоборудовала угол комнаты под рабочее место: старая кушетка, накрытая простыней, лампа на прищепке, флаконы с пигментом, выстроенные на подоконнике. Клиентов находила через знакомых, таких же неприкаянных, как она сама. Платили мало, но ей хватало.

О том, что она теперь «видит», Мира никому не говорила. Да и что расскажешь? «Я касаюсь кожи и проваливаюсь в чужое прошлое, а еще у меня в голове живет Голос». В лучшем случае рассмеются, в худшем — вызовут санитаров. Поэтому она просто работала. Брила, протирала, переводила трафарет, вкалывала пигмент. Старалась не вслушиваться в чужие истории. Старалась не касаться кожи дольше, чем нужно. Но это не всегда помогало.

Сначала люди шли тонким ручейком, когда она только открыла свою практику, а потом широкой рекой сарафанного радио. Они приходили со своими болями, страхами и надеждами, и каждый оставлял на ее кушетке не только деньги, но и частицу своей души. Мира же забывала частицу своей.

Первые потери казались незначительными. Мелодии, запахи, имена из детства. Каждая новая ощущалась как щелчок: что-то маленькое, почти незаметное, отваливалось внутри, и Мира продолжала жить дальше, даже не замечая, что стала чуть легче, чуть прозрачнее.

Но щелчки множились. С каждой дорисованной линией, с каждой измененной судьбой Голос внутри становился громче. Мира теряла себя по кусочкам, как осыпается штукатурка со старого дома. Она не заметила, когда исчезли ее любимые духи. Не помнила, в какой день перестала плакать над грустными фильмами или как звали мальчика, с которым она целовалась в девятом классе за школой. Голос забирал не просто воспоминания, он забирал ее. Медленно, методично, как скульптор, который отсекает от глыбы все лишнее, чтобы проступила истинная форма. Только истинной формой Миры, кажется, была пустота.

Лев Аркадьевич взял ее на работу в двадцать два. Она пришла с улицы, мокрая после дождя, с паршивым портфолио и дрожащими руками. Он сидел за стойкой, протирал очки и странно, изучающе смотрел на ее розу. А потом без испытательного срока взял в салон под крыло.

Он видел, что происходит. Видел и молчал. Год за годом смотрел, как она вмешивается в чужие судьбы, как появляются новые рисунки на ее руках после каждой помощи. Но продолжал протирать стойку, заваривать чай и делать вид, что все под контролем.

Готова ли она рассказать все это Кузьме? Рассказать хоть кому-нибудь?

— Да как-то... Длинная история.

Кузьма посмотрел на нее, прищурился, но допытываться не стал. Только смешно поджал нижнюю губу и придвинул к ней поближе пирожки.

— Длинные истории — мой конек. Так что, если захочешь поговорить, я всегда готов. — Он помолчал немного. — Ты точно в норме, Мир?

— Точно, — ответила она.

— Врешь.

— Констатирую факт.

Он усмехнулся. На этот раз по-настоящему, широко, и вдруг стал моложе. Без этой взрослой озабоченности, которая обычно лежала на его лице пластом, ему можно было дать не тридцать пять, а тридцать. Морщины на лбу разгладились, плечи опустились, и Мира впервые заметила, что у него, оказывается, есть ямочка на левой щеке. Совсем крошечная, почти незаметная, которая проступает, только когда он смеется искренне.

— Ладно, — сказал он. — Я не давлю. Но пирожки доешь, а то мама обидится. Она спрашивает каждый раз: «Ну что, все съели? Понравились?» Ты же не хочешь, чтобы я врал маме?

— Обязательно, — пообещала Мира.

Он допил чай, заглянул в кружку, словно проверяя, не осталось ли там заварки, и засобирился. Завязал шнурки тугим двойным узлом, одернул куртку. В прихожей было тесно для двоих, и Кузьма, уже взявшись за ручку двери, обернулся.

— У тебя же есть мой номер?

— Конечно, я давно сохранила...

— Ты просто не звонила ни разу, не писала. А я... В общем, если что — сразу звони. В любое время. Я не выключаю звук.

Дверь закрылась с мягким шорохом. Мира осталась в тишине, которая вдруг стала слишком громкой. Она прижалась лбом к холодной стене и закрыла глаза. Внутри, под ребрами, медленно расцветал теплотой мягкий шар, но она пока не могла найти ему названия. Может быть, потому что оно стерлось вместе с остальным.

Она закрыла глаза и прислушалась к себе. Где-то внутри, в том месте, где раньше жил запах вишни, теперь поселилась тупая, ноющая пустота, которая отдавалась в груди глухим давлением, как перед грозой. Но рядом с этой пустотой, почти вплотную, теплилось что-то еще, что-то неожиданное. Благодарность... За пирожки. За то, что не давил. За право промолчать и передышку от одиночества.

Она вернулась на кухню и бережно, стараясь не раскрошить, переложила оставшиеся пирожки в пакет и убрала в холодильник. Дверца звякнула старым магнитом от прежних жильцов. Он изображал ретро-автобус, кажется, из шестидесятых, с дутыми боками, круглыми фарами и крошечными шторками на окнах. А над ним, выцветшая от времени, шла надпись: «Жизнь — это приключение».

Да уж.

Мира смотрела на буквы и думала, что автор магнита явно не терял память по кусочкам, не видел чужие потери и не пытался уснуть под аккомпанемент неслышного другим шепота. Приключение... Сафари, казино, прыжки с парашютом — вот что обычно имеют в виду, когда говорят такое. А не ежедневный выбор между двумя видами боли, каждая из которых забирает часть тебя.

Она представила себе того, кто когда-то прилепил этот магнит на холодильник. Может быть, молодая пара, только въехавшая в свою первую квартиру. Или студентка, сбежавшая из общаги. Кто-то, кто считал, что жизнь — это череда возможностей. И Мира вдруг подумала: а ведь она сама когда-то, в шестнадцать лет, тоже так думала. Когда шла к слепому мастеру с альбомом эскизов в рюкзаке и надкусанным яблоком. Когда еще верила, что боль можно выключить, как свет в комнате — одним щелчком. Теперь она знала: боль не выключается. Она только переходит из рук в руки, как старая монета.

Мира не стала снимать магнит. Пусть висит. Может быть, он напомнит ей о той, прежней Мире, которая еще не знала цены. Или о том, что даже из самого дурацкого приключения можно выйти живой. Или не выйти. Тут уж как повезет.

За окном все так же шел дождь, и капли монотонно барабанили по жестяному отливу. Мира взяла зонт, натянула ветровку и поехала на работу.

Не успела музыка ветра звякнуть, как Женя закричала из глубины салона:

— Мир, у нас новая клиентка! Хочет браслеты из роз! Похоже плакала, когда звонила...

Мира положила ключи на стойку и глубоко вдохнула, как перед прыжком в холодную воду.

— Записывай.

#### Глава 4. Браслет из игл

Перед началом работы Мира всегда убирала волосы в пучок, закалывая его карандашом. Этот ритуал со временем стал больше, чем простой подготовкой. Он означал: сейчас я стану тем, кто слушает кожу.

Отросшая челка, выбившаяся из прически, утомленно прилипла ко лбу. К полудню воздух в салоне сгустился до той плотности, когда даже тени от жалюзи кажутся неповоротливыми и липкими. Солнце дембельским аккордом почти отвесно било в окна, и стеклянные флаконы на дубовых полках запотевали изнутри. Сквозь мутное стекло киноварь уходила в коричневый, ультрамарин в почти черный, а заспиртованный шмель в своей банке, казалось, шевелил лапками, хотя был мертв уже лет двадцать. Гиппократ уныло взирал на все это, вновь скосив наушники в сторону.

Женя пытала возле кушетки и пыталась отковырять ногтем присохшую к подлокотнику каплю зеленого мыла. Капля не поддавалась. Она была уже вполне себе археологической находкой, изумрудным окаменевшим ископаемым, и Женя, цокая языком, колупала ее с упорством палеонтолога.

— Ты вчера поздно ушла? — спросила она, не поднимая головы.

— Как обычно, — ответила Мира. Она подошла к верстаку и выкладывала в лоток спиртовые салфетки. Десять штук, ровным рядом.

Женя наконец оторвала каплю и сдула с ладони невидимую пыль. Постучала пальцем по губам и прошла вдоль полок, провела рукой по пузатому флакону. Бережно взяла и посмотрела на свет — пигмент внутри был густым, темным, как венозная кровь.

— Слушай, а этот риэлтор... Он правда сам пришел в полицию? Или это ты его как-то... — Она покрутила пальцами в воздухе.

Мира обернулась и посмотрела на нее тем взглядом, от которого Женя всегда слегка втягивала голову в плечи.

— Что — «как-то»?

— Ну, не знаю. Ты иногда смотришь на клиентов так, будто видишь что-то, чего не видим мы. А потом они уходят и совершают странные поступки. Игорь, перед ним мальчишка с кольцами, женщина эта странная с конем... Да всех и не упомнить.

— Случайности, — сказала Мира ровно.

— Не скажи... Один раз — случайность, два — совпадение, три — система. А у нас таких «случайностей» накопилось столько, что хоть на битву экстрасенсов иди. — Женя хмыкнула и плюхнулась на табурет за стойкой. — Ладно, не хочешь — не говори. Но учти: если ты ведьма, я имею право знать. Подруга-колдунья — это плюс к карме.

— Ты в карму не веришь.

— Я во все верю, что может пригодиться.

Мира не ответила. Она выложила иглы и закрыла коробку. Крышка защелкнулась с тихим, но уверенным щелчком. Женя, которая все еще сидела за стойкой, открыла было рот, чтобы что-то добавить — вероятно, очередную шутку про то, что Мира слишком серьезна, — но не успела.

Музыка ветра над дверью зазвенела. Медные трубочки ударились друг о друга с пронзительной нотой, словно входящий хотел, чтобы все немедленно обернулись. И все обернулись.

На пороге стояли двое: женщина в бежевом пиджаке, пахнущая лавандовой водой и аммиаком свежей завивки, и девочка-подросток в черном худи с капюшоном, надвинутым до бровей. Женщина вошла первой, нервно поправила волосы, оценивающе оглядела холл и нацепила маску легкой брезгливости.

— Мы записаны. Фамилия Коваль. Алина. — Она выдернула из сумочки телефон, глянула на экран и тут же убрала обратно. — На одиннадцать.

Женя сверилась с планшетом, и ее розовые волосы качнулись в такт кивку.

— Ага, Алина Коваль. Браслеты из черных роз. Девушка, проходите.

Девочка не шевельнулась. Она стояла у двери, засунув руки в карманы худи так глубоко, что ткань натянулась на плечах. Капюшон она сняла, только когда мать обернулась и бросила: «Алина, тебя ждут». Сняла нехотя, двумя пальцами, будто прикасалась к чему-то противному.

Бледное лицо с прозрачной голубизной под глазами. Волосы темные, невымытые, собраны в низкий хвост резинкой, готовой вот-вот лопнуть. Трещина обхватила нижнюю губу кольцом запекшейся крови.

Мира смотрела на нее и молчала. Женя тем временем усадила мать на диван, предложила чай и включила «режим работника месяца» на полную мощность. Женщина заговорила — быстро, громко, перескакивая с темы на тему: о пробках на Садовом, о ценах на татуировки, о том, что Алина «сама захотела», хотя она, мать, «не очень это одобряет, но пусть уж лучше так, чем...». И тут осеклась, махнула рукой.

— Чем что? — спросила Мира.

Женщина посмотрела на нее удивленно, будто предмет мебели заговорил.

— Чем глупости всякие, — отрезала она. — Вы мастер?

— Да. Проходи, Алина.

Девочка шагнула к кушетке. Движения заторможенные, как под седативами. От худи тянуло дешевым стиральным порошком с резкой отдушкой «альпийские луга», и под ним угадывался другой слой: кисловатый, тревожный, запах подросткового пота и страха. Мира знала этот коктейль, слишком много раз он сопровождал видения.

— Садись. Левую руку на подлокотник.

Алина села, медленно закатала рукав, словно ткань сопротивлялась. Предплечье девочки исполосовали шрамы. Относительно свежие, розовые, бугристые, кое-где еще с темными корочками. Порезы шли вдоль, а не поперек, аккуратными параллельными линиями, как строки в тетради. Мира насчитала одиннадцать на левой руке. На правой, когда Алина закатала второй рукав, оказалось еще восемь.

В салоне повисла тишина. Женя застыла с чайником. Мать на диване достала телефон и уткнулась в экран, не глядя на дочь.

— Браслеты из черных роз, — сказала Мира неожиданно для самой себя ровно. — Закрывать шрамы?

Алина кивнула и впервые подняла глаза. Они оказались серыми, с зеленоватым ободком вокруг зрачка, и глядели на Миру спокойно, отстраненно. Мира видела такие глаза у стариков перед операцией. У солдат в старых хрониках. У тех, кто знает, что жить осталось недолго, и их это устраивает.

— Я хочу, чтобы розы были с шипами, — сказала Алина твердо без подростковой вопросительной интонации в конце фразы. — Не просто цветочки. Пусть шипы будут настоящие.

— Хорошо, — сказала Мира и потянулась за калькой.

Мать на диване хмыкнула, не отрываясь от телефона:

— Лишь бы не черепа. Терпеть не могу черепа.

Никто ей не ответил.

Мира натянула перчатки и протерла левое предплечье Алины спиртовой салфеткой. Кожа у девочки была холодной — неестественно холодной для теплого салона. Мурашки не пошли, никакой реакции. Мира наклонилась ниже, рассматривая шрамы, и заметила то, чего не увидела сразу: в некоторых порезах застряли крошечные черные волокна ткани. Значит, резала прямо через одежду. Не снимая. Торопилась.

— Больно было? — спросила Мира, хотя знала ответ.

— Нет. — Алина смотрела в стену, где висел плакат с анатомией кожи. — Почти нет.

Врет, подумала Мира, и тут же услышала внутри сдвленный смешок. Голос. Он был здесь.

«Конечно, врет. Ей было больно, и все еще больно. Именно поэтому она здесь».

Мира приложила трафарет к предплечью Алины. И мир сорвался.

Видение на этот раз ударило черной вспышкой — не светом, а его отсутствием. Как будто кто-то выключил рубильник во всем салоне, а потом включил его в другом месте, чужом и затхлом.

Мира оказалась в комнате. Маленькой, с низким, давящим потолком, который нависает над головой гробовой крышкой. Детские обои в мелкий цветочек, выцветшие до бледно-розового, почти серого, местами отклеились от стен и топорщатся, обнажая желтую газетную подложку. Пахнет пылью, табачным дымом и кислым пивом — запахом, который, казалось, въелся в каждую нитку ковра. Ковер грязный, с круглыми прожженными дырами и оплавленными в нескольких местах краями. Под босыми ногами он бы ощущался колючим и липким одновременно.

В углу сидит Алина. Младше, чем сейчас, — лет четырнадцать-пятнадцать, с острыми плечами и тонкими руками, обхватившими голые колени. Она не плачет, молча смотрит на дверь. И в этом взгляде нет ни надежды, ни мольбы: сухое, выжженное ожидание.

Дверь-предательница, старая, деревянная, с белой облупившейся краской, безвольно подается внутрь. На пороге шатается мужчина. Крупный, с тяжелым, выпирающим из-под растянутой майки животом, на котором темнеют желтые пятна пота. Плечи широкие, шея короткая, волосы сальные, прилипшие к вискам. От него пахнет невымытым телом и перегаром — густо, почти осязаемо. Мира ощущает этот запах не только в ноздрях, но и на языке: горький, кислый, с металлическим оттенком. Ее желудок сжимается в тугий узел, а к горлу подкатывает тошнота — такая же реальная, как если бы она по-настоящему стояла в этой комнате.

Мужчина что-то говорит. Слов Мира не разбирает, только вкрадчивую, почти ласковую интонацию. Он растягивает гласные, как плесневелую патоку. От этой интонации у Миры сводит внутренности холодным спазмом, от которого хочется согнуться пополам. Алина мотает головой. Медленно, без крика. Нет. Нет. Нет.

Он подходит ближе. Тень от его фигуры накрывает кровать. А потом — темнота. Не та черная, что была в начале. Иная... Плотная, удушливая, наполненная звуками. Скрип кровати: ритмичный, ржавый, ввинчивающийся в уши. Два дыхания: его, низкое и хриплое, и ее, частое, поверхностное, похожее на загнанный бег. Сдвленный всхлип. И голос Алины — тонкий, почти сломанный, считающий про себя: «Раз... два... три... четыре...». Она считает на вдохе, на выдохе, как будто пытается дойти до такого числа, на котором все закончится.

Кожа на руках Миры покрылась испариной от бессильной, парализующей ярости. Она хотела отвернуться, закрыть глаза, заткнуть уши, но дар не спрашивал. Он держал ее здесь, в этой темноте, и заставлял слушать.

Следующий кадр. Та же комната, день заглядывает в окно серым, как грязная вода, светом. Алина сидит за столом. Она стала старше — почти такая же, какой переступила порог салона. Черты лица заострились, под скулами легли тени, а глаза... Пугающе неподвижный взгляд человека, который больше ничего не ждет.

Перед ней лежит листок бумаги. Сначала Мира подумала, что Алина рисует. Может быть, розы, которые хотела набить на браслетах? Но это не рисунок. Или, вернее, не только рисунок. Черные розы обрамляют мелкий, убогий текст, написанный шариковой ручкой с такой силой, что бумага прорвалась в углах букв.

Это дневник. Или план. Или приговор.

«Мама будет на работе. Он вернется в восемь. Нож лежит в правом ящике кухонного стола. Ванная. Замок сломать заранее, чтобы не шуметь. Кровь смыть холодной водой, с теплой не отстирается. Я все сделаю. Я больше не боюсь». И дата. Завтрашнее число, обведенное в кружок несколько раз.

У Мира похолодели пальцы. Она будто сама держала этот листок, сама выводила слова. Она хотела закричать Алине: «Остановись! Не надо!». Но здесь у нее не было голоса.

Следующий кадр... Далекый, тихий, который дар показал почти нехотя, словно стесняясь. Кухня. Вечер. Мать Алины сидит за столом, перед ней — открытая бутылка дешевого вина и два стакана. Один пустой, второй — на доньшке. Она уже выпила почти все, но не пьяна... Скорее, оглушена. Напротив нее стоит Алина. Худая, с закатанными до локтей рукавами худи. Она говорит тихо, но твердо, выталкивая слова, как камни: «Он приходит по ночам. Он трогает меня и... Ты должна мне поверить».

Мать отводит мутные глаза в сторону, туда, где в подоконник врос цветочный горшок с окурками. И молчит. Молчит слишком долго. А потом произносит невпопад, словно не услышала ни слова: «Сходи за сигаретами. У меня кончились».

Алина стоит еще секунду. Потом разворачивается и выходит из кухни. Она идет к себе в комнату, и ее шаги по коридору звучат как приговор. Мать остается за столом. Она смотрит в стакан, потом на дверь, за которой скрылась дочь. В ее глазах страшное, глубокое, как прорубь, знание. Но она тушит его как окурки: коротким, резким движением. Наливает еще вина и выпивает залпом. Не верит. Не хочет верить. Потому что поверить — значит признать, что она допустила это в своем доме. А потом снова искать кого-то, к кому-то привыкать... На это у нее нет сил.

В тот же миг видение выплонуло Мире в ярко освещенный салон с колотящимся сердцем, дрожащими пальцами и привкусом ржавчины на языке. Мужчина с животом и сальными волосами еще шатался у нее перед глазами. Алина, настоящая, живая, сидела на кушетке и сжимала подлокотник побелевшими пальцами. Мира знала: если она ничего не сделает, завтра девочка сломает себе жизнь.

Трафарет все еще был прижат к руке Алины, и Мира поняла, что держала его слишком долго — на коже остался розовый след от нажима.

— Вы в порядке? — спросила Алина. В ее голосе мелькнула тень беспокойства, первая эмоция за все время.

— Эскиз не подходит, — сказала Мира и отложила трафарет. — Нужно переделать.

— Почему? — Мать на диване оторвалась от телефона. — Мы же утвердили.

— Шрамы неровные. Розы лягут криво. Если хотите закрыть их — нужен другой рисунок. — Мира говорила спокойно. — Я переделаю, приходите завтра.

— Но мы записаны! — Мать встала, каблучки сердито стукнули плитку.

— Я позвоню вам вечером. — Мира уже повернулась спиной, давая понять, что разговор окончен.

Алина сидела молча. Ее лицо не изменилось, только пальцы сжали край кушетки до красноты на ногтях. Мать схватила сумочку, дернула дочь за рукав.

— Пошли. Вечно ты все портишь. — И уже с порога, Жене: — Если она, — презрительный кивок на Мира, — переделает, позвоните.

Дверь влетела в дверной косяк. Женя повернулась к Мире, скрестив руки на груди. Розовые волосы возмущенно подпрыгнули.

— И что это было? Эскиз нормальный. Шрамы там ровные, я видела.

— Дело не в шрамах. — Мира повела плечами.

— А в чем?

— В том, что, если я сделаю ей браслеты, завтра она убьет человека.

Женя открыла рот. Закрыла. Села на стул, забыв, что тот вращается, и чуть не опрокинулась.

— Ты сейчас серьезно?

— Абсолютно.

— Откуда ты...

— Женя, — Мира отошла к столу. — Не спрашивай.

И Женя не стала, хотя очень хотела. В салоне «Под кожей» давно привыкли к странностям. Лев Аркадьевич ронял фразы, которые не вязались с его образом добродушного владельца. Мира делала вещи, которые не вязались с работой татуировщицы. Женя предпочитала не лезть. Но сегодня она смотрела на Миру дольше обычного и, уходя на обед, бросила через плечо:

— Если ты что-то затеяла, будь осторожна.

Мира не ответила. Она достала телефон из заднего кармана джинсов. Корпус показался холодным, скользким. На долю секунды пальцы замерли над экраном. Она готовилась переступить черту, отделявшую ее одиночество. Просить Мира не умела, но Алина стояла у нее перед глазами, и выбора не было.

Она набрала номер. Гудки пошли длинные, тягучие, и Мира уже решила, что он не возьмет — конец смены, пробки, усталость. Но после пятого в трубке шелкнуло.

— Участковый Сорокин.

Он ответил казенным голосом, которым отвечают на вызовы и разговаривают с начальством. На заднем плане что-то гудело: какофония участка, обрывки разговоров, стук дверей, чей-то смех. Мира представила себе длинный коридор с лампами дневного света, скамейки, обитые дерматином, и Кузьму, сидящего за столом с горой бумаг.

— Это Мира. Тихонова. Из тату-салона.

— О, — в трубке зашуршало, и голос сразу сменил регистр: стал ниже, менее официальным, чуть растерянным. — Привет. Что-то случилось? Опять опоздание татуировки?

Он все еще думал, что кроме как по работе она звонить не станет. В каком-то смысле так оно и было.

— Нет. Другое. Мне нужна твоя помощь. Неофициально.

Пауза. На заднем плане что-то стукнуло, и гул стих. Видимо, Кузьма вышел в коридор.

— Выкладывай.

— Есть девочка. Семнадцать лет, Алина Коваль. Живет с матерью и отчимом. Отчим ее насирует. Несколько лет.

Кузьма выдохнул в трубку, динамик тяжело захрипел. Сквозь этот выдох Мира услышала, как он проводит ладонью по лицу, задевая щетину. Она почти видела это движение: широкую ладонь, усталые глаза.

— Заявление есть?

— Нет. Девочка до смерти напугана. Мать пьет и делает вид, что ничего не понимает. А Алина собирается убить его. Завтра. Ножом.

— Откуда ты знаешь?

— Она была сегодня у меня в салоне.

В трубке повисла тишина. Мира практически ощущала сомнения Кузьмы: верить или нет. Она слышала его ровное, но слишком медленное для спокойного, дыхание. Потом фор-

менные ботинки заскрипели по линолеуму с характерным резиновым звуком. Шаги были быстрыми, размашистыми, дыхание участилось.

— У меня нет оснований для ареста, — сказал он наконец, и Мира услышала знакомую ей беспомощность, которую сама испытывала каждый раз, когда не могла вмешаться. — Только твои слова. Но... — Он запнулся. — Есть другой способ. Соцопрос. Я могу прийти к ним под видом участкового, который опрашивает соседей о шуме, ремонте, о чем угодно. Формальный повод. А там — по обстоятельствам.

— Отчим будет пьян к восьми вечера. Агрессивен.

— Тогда пойду с напарником. — Кузьма замолчал на секунду, и Мира услышала скрип шариковой ручки по бумаге. — Адрес знаешь?

Она на секунду замаялась.

— Сейчас в договоре гляну и скину сообщением.

— Не шибко законно, конечно, — сказал Кузьма мрачно, но в его голосе мелькнуло что-то похожее на улыбку.

— Как и липовый соцопрос.

Он хмыкнул. Коротко, сухо. Мира знала, что ему нравилось, когда она отвечала в той же манере, в какой он задавал вопросы. Они начали эту игру давно, но правил из них двоих никто не знал.

— Буду у тебя через час, — сказал он, и Мира услышала, как шаги ускорились. — Жди.

Гудки. Она опустила телефон и увидела собственное отражение — бледное, размытое. За окном дождь не прекращался. Капли стучали по жести, и в этом звуке ей слышался ритм. Как будто кто-то большой и невидимый отсчитывал время до того момента, когда она снова вмешается. И снова заплатит.

Мира быстро набрала сообщение с адресом и отправила Кузьме. Буквы прыгали — большой палец дрожал, и ей пришлось дважды исправлять номер дома, прежде чем нажать «отправить». Она подошла к окну. Водяные дорожки стекали по стеклу, искажая уличный фонарь, и тот расплывался дрожащей и нечеткой кляксой.

«Так дело не пойдет, милая».

Голос прозвучал за правым плечом с особенно зловещей акустикой. Мира не обернулась. Она знала: там никого нет. Но затылок все равно обожгло, и волосы на шее встали дыбом.

«Ты вмешиваешься не по правилам. Знаешь, чем это пахнет?»

— Справедливостью? — спросила Мира вслух. Жени не было, Лев Аркадьевич возился в подсобке, терять лицо не перед кем. Ее голос отразился от оконного стекла и вернулся к ней, глуховатый и чужой.

«Нарушением договора, — снисходительно ответил Голос, будто объяснял ребенку простые истины. — Ты звонишь участковому, едешь к девочке домой, стучишь в дверь. Это уже не помощь, радость моя, это операция. Когда ты решила, что имеешь право?»

Мира не ответила. Где-то в груди, под ребрами, медленно проворачивался колючий колтун. Голос, пожалуй, был прав. Она не имела права. Она вообще не имела никакого отношения к этой девочке и ее отчиму, к матери, которая пьет, к тому, что должно случиться. Она была татуировщицей. Всего лишь. Она должна была сделать эскиз, набить браслеты и забыть эту историю, как забыла сотни других.

Но Мира все еще видела в серых глазах девочки то же самое выражение, которое было у нее самой в шестнадцать лет. Когда слепой мастер в подвале спросил: «Ты готова?» И она ответила «да», потому что ответить по-другому было невозможно. Потому что одиночество, в котором она жила, было страшнее любой расплаты.

«Ты узнаешь себя в ней, — продолжил Голос тише, почти ласково. — Она загнана в угол, готова на все. Она думает, что мир — это капкан, из которого можно выбраться только через кровь. Ты была такой же. Поэтому летишь к ней, моя ласточка? Потому что хочешь спасти

не ее, а ту шестнадцатилетнюю дуру, которая сидела в подвале и ждала, что кто-то придет и скажет: „Не надо“? Об играх в следователя тебя никто не просил. Твоя задача в другом».

— Она просила! — Мира резко хлопнула ладонью по подоконнику. — Просто не словами.

Голос замолчал. На несколько секунд в салоне стало тихо, а потом он вздохнул и произнес, ехидно растягивая слова:

«Ну-ну. Только не говори потом, что я тебя не предупреждал».

Через час у дверей салона остановился темно-синий «Форд» с поцарапанным гербом на дверце. Двигатель чихнул и заглох. За стеклом мелькнули две фигуры. Одна — широкая, медвежья, знакомая. Вторая, суетливая, помельче.

Кузьма вошел первым, на ходу отряхивая капли с потемневшей от влаги форменной куртки. Он как всегда быстро и цепко оглядел салон и задержал взгляд на Мире чуть дольше, чем требовала простая вежливость.

Следом за ним, чуть не споткнувшись о порог, в салон втиснулся сержант. Молодой, лет двадцати двух, с прыщавым лицом и оттопыренными ушами, которые делали его похожим на удивленного зайца. Форма сидела на нем мешковато, а фуражка сдвинулась на затылок, открывая светлый ежик волос. От него пахло дешевым дезодорантом и чем-то сладким — то ли жвачкой, то ли энергетиком. Мире бросилась в глаза его обгрызенная до крови заусеница на указательном пальце, красная и воспаленная. Он явно волновался и явно хотел это скрыть.

— Это Мира, — Кузьма кивнул напарнику на Миру и повернулся к ней. — А это Петрович.

Мира усмехнулась одной лишь тенью улыбки. «Петрович» юнцу подходило меньше всего. Это было имя для пожилого прапорщика, усатого и сурового, а не для мальчишки с обгрызенными пальцами и прыщами на подбородке. Но она ничего не сказала. В этой работе, как и в ее собственной, имена часто были всего лишь маской.

— Он в курсе про соцопрос, — продолжил Кузьма, проходя к стойке и кладя на нее фуражку. Вернувшаяся Женя тихо сидела в углу и делала вид, что очень занята планшетом. — План такой: заходим, я представляюсь, задаю обычные вопросы о соседях. Если отчим спокойный — мы уходим, и я составляю рапорт по девочке отдельно. Если агрессивный — у Петровича есть баллончик.

— Незаконное хранение оружия тоже есть, — добавил Петрович с энтузиазмом, и его слова прозвучали выше, чем он, вероятно, хотел. — У всех есть. То есть... ну, почти у всех.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.